КИНО

„Разгром Японии“*

Вздымаемый тайфуном, мечется над миром флаг «восходящего солнца», флаг Японии. Сквозь прозрачную ткань, раздираемую ураганом японской агрессии, проступают, проносятся пляской смерти видения казней и пыток, разбоя, глумления; чье-то лицо искажается предсмертной мукой; чье-то тело, еще живое, содрогающееся в конвульсиях, быстро волокут по земле; человек, стоящий на коленях перед ямой, получает пулю в затылок; задыхается пленник, заживо зарываемый в землю; падают, падают убитые люди и снуют на дымящейся от крови земле солдаты с маленькими раскосыми глазами, офицеры с повадкой ищеек, толпы убийц, орущих восторженное, сумасшедшее, пронзительное, как вой шакалов, «банзай». И над всем — зловещее полыхание японского флага.

Последний шквал вздымает его.

И мертвый флаг, разодранный надвое, недвижно висит на шесте. Япония капитулировала. Спокойное приглашение диктора:

— Посмотрим, что это за страна, которая десятилетиями готовила нашествие на нашу родину, а ныне признала себя побежденной.

Очень хорош в прологе этот спокойный и ясный голос, обрывающий истерическое «банзай». Он звучит для нас, как голос победы. И авторы фильма, пользуясь сплошь и рядом документами японской же кинематографической хроники, сразу после пролога начинают постепенно расшифровывать тайну «японского духа», происхождение безумной мании, залившей кровью весь Дальний Восток. Черные громады военных заводов вокруг Нагасаки. Столпотворение токийской биржи, сумятица алчности, цепкие руки маклеров в неистовой и смешной для нас давке биржевого дня. Оружие империалистических концернов и банков—дредноуты в море, хищные железные птицы в небе, марширующие на суше дивизии, марширующая нация, манекены, способные убивать, «немцы Азии». Их приучали к этому с младенческих лет. Японскому мальчику два года — ему покупают меч самурая. Японскому мальчику пять лет — его учат петь: «Выйдем в море — усеем трупами волны, выйдем в горы — устелем трупами травы». Японскому мальчику семь лет — его учат кланяться флагу «восходящего солнца». Японскому мальчику одиннадцать лет — его учат видеть на карте мира «границы японского духа» от Кавказа до Австралии и Новой Гвинеи. Вот ему шестнадцать лет, он учится бить палкой, в восемнадцать овладевает искусством штыка, в двадцать лет он уже убивает: образование японского мальчика завершено. Все это — правда, все это снято на пленку самими японцами.

Все это правда. На просмотре хроникального фильма я вспоминал японцев в Маньчжурии, пленных солдат, которые рассказывали на допросе, как с малых лет им прививали романтику смерти, как, провожая сыновей в армию, родные твердили им: «Вернись мертвым — вернись святым!» Убийца, убитый в бою за «новый порядок в Азии», в их глазах становился святым.

Пятьдесят лет назад Япония начала штурм азиатского материка. 1894 год. Нападение на Китай. На японских штыках — Формоза и Пескадорские острова. 1904 год. Нападение на Россию. Война не об'явлена — вор не предупреждает свою жертву о предстоящем налете. Война не об'явлена, но в черную ночь японские корабельные пушки начинают стрелять по сонным улицам Порт-Артура. Одиннадцать месяцев русский солдат расплачивается своей кровью за все пороки царского строя. Одиннадцать месяцев держится русский солдат в фортах Порт-Артура, одиннадцать месяцев Япония через горы своего же пушечного мяса карабкается к Порт-Артуру, силы ее на исходе, но царский ставленник Стессель открывает перед нею ворота в русскую крепость. Граф Витте и барон Розен подписывают Портсмутский договор: половина Сахалина и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром отходят к Японии. Черная печать скрепляет страницы позорного договора — черное пятно ложится на нашу страну.

1918 год. Во Владивостоке — японский десант. По трапам спускаются на русскую землю орды солдат. Из-под всклокоченных меховых шапок жадно рыскающие глаза. Бегут по трапам. Расползаются во все стороны. Оживают картины четырехлетней партизанской борьбы, и мы видим японские корабли, повернувшиеся кормой к нашей земле, уходящие, изгнанные силами революционной страны. Но кровь невинных людей, замученных руками японцев,—с нами. Но огненная могила Сергея Лазо, сожженного японцами в паровозной топке, — в нашей памяти, ее огонь опалил наши сердца. Сараи, набитые трупами русских людей. Тела, пригвожденные к стенам, возле которых пытали. Казни.

Эта лента—подлинный список злодеяний «японского духа». Мы видели японских мальчиков в школе, тыкавших палкой в карту, шаривших палкой по всей планете. Теперь мы видим премьер-министра Японии в 1927 году, генерала Танака, входящего во дворец императора с меморандумом о планах дальнейших завоеваний. Авторы фильма изображают содержание меморандума просто и верно — полетом японских ножей, со свистом вонзающихся в карту мира. Первый нож — в Маньчжурию, отсюда недалеко до русской границы. Второй нож — в Монголию, и здесь близка та же граница. Впиваются в карту ножи: Китай, Индия, острова Южных морей, Приморье, Сибирь, Урал! Вот весь меморандум. «Настала пора действовать»,—пишет Танака.

В 1931 году японцы набрасываются на Китай, вторгаются в Маньчжурию, провозглашают ее империей, сажают на трон императора Пу-и, который и в жизни похож на марионетку, — мы его видим: он выходит из автомобиля, поднимается по лестнице, шаги у него механические, движения неживые,—это японская кукла, мы еще встретимся с нею. Лента злодеяний разворачивается бесконечно. Мы видим Маньчжурию, поверженную к ногам оккупантов, обворованную, нищую. Китаец не ест теперь риса, он ест гаолян — корм для скота. Лошадь не ест теперь гаоляна, она ест солому и работать не может. За нее работает тот, кто ест гаолян, — человек. Но и он работает на японцев, только на японцев. Жадные японские острова пожирают все, что можно украсть с материка, из Маньчжурии.

Они крадут все, чтобы снова и снова вооружаться. Они создают в Маньчжурии миллионную армию нападения, лучшую японскую армию — Квантунскую армию. Они зарываются в землю возле советских границ и воздвигают над собой сталь и бетон — семнадцать укрепленных районов, обращенных стволами орудий против нашей страны. Если есть орудия, они должны стрелять. И вот мы видим исступленное лицо Гитлера, слышим звериный рык Муссолини. Кровавая цепь замыкается: Берлин—Рим—Токио, на этой фашистской оси должна вращаться планета. Японские дипломаты появляются в передней у Гитлера и Муссолини. Пушки заряжены дипломатами. Они будут стрелять.

И японские пушки стреляют.

1938 год — Хасан. Авторы фильма коротко и сильно воспроизводят короткий и сильный ответ Советской страны. 6 августа, 15 часов, — удар по японским позициям. 17 часов — новый удар. Двадцать часов—третий удар. Три удара на суше и с воздуха, и японцев вышвыривают за пределы советской государственной границы. 1939 год — Халхин-Гол. Будущий маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков работает над планом окружения и разгрома квантунских дивизий, ворвавшихся в пределы Монгольской Народной Республики. «Это будет укрепляющая, оздоровительная прогулка для японского духа»,—так напутствовал своих солдат японский министр Араки.

— Возвращение с прогулки!.. — дополняет советский диктор эту тираду, и мы видим повозки, набитые трупами японских солдат.

Японский тайфун сеял смерть и разорение на просторах Китая. С новой силой ударил он в памятный нам 1941 год, когда чудовищная германская машина вторжения обрушилась на советские земли, а через несколько месяцев в другой части планеты морские и воздушные эскадры Японии без об'явления войны напали на тихоокеанскую морскую базу США—Пирл-Харбор. Смертоносные лучи «восходящего солнца» распростерлись над громадными территориями. Японские солдаты выскакивают с десантных судов на поросшие пальмами берега Филиппин. Японцы бродят в Маниле. Врываются в дымящийся от бомб Сингапур. Овладевают Голландской Индией. Шествуют мимо фантастических храмов Бирмы.

Они оставили мысль о нападении на СССР? Они соблюдают нейтралитет? Мы помним этот «нейтралитет». Мы многое помним: бессонные ночи наших дальневосточных пограничников, японские орудия, нацеленные на Хабаровск и Благовещенск, провокации японской военщины, заставлявшие нас держать наготове войска на Востоке в те тяжелые месяцы, когда нам дороги были каждый танк, каждый самолет, каждая винтовка на западной линии фронта. Японцы ждали только падения Сталинграда — это стало бы для них сигналом для штурма Приморья. Суровая правда есть в той части фильма, где авторы его перемежают картины насмерть стоящего русского Сталинграда с картинами отвратительно-настороженного ожидания в японских штабах. Кровь льется на Волге,—и как-будто шерсть встает дыбом на спинах японских штабных генералов, хищники замирают перед прыжком.

— Этого мы не забудем! — снова напоминают авторы фильма, и мы ждем очистительной грозы, ждем, когда же разрядится напряжение, нараставшее по мере того, как разворачивалась перед нами кинематографическая летопись японских злодеяний за полвека, с 1894 года. Нужно отдать должное искусству компоновавших фильм А. Зархи и И. Хейфица и писателя Е. Габриловича, работавшего над лаконичным и обогатившим хронику текстом, — в одном фильме они соединили документы 50 лет японской агрессии и превратили их в подлинный обвинительный акт против носителей «японского духа». И становится легче дышать, когда гроза, наконец, разражается над Японией когда стрелка на часах приближается к намеченному нашим командованием часу атаки, и вслед за последним движением стрелки урагана огня обрушиваются на японцев на земле, на реках, на море и с воздуха.

Это была война короткая, молниеносная, ибо в ней гнал японцев и валил их на колени грандиозный опыт советских армий, накопленный на германских фронтах от Волги до Шпрее. Но в этой короткой войне сталинские войска преодолели трудности, сравнимые лишь с легендарным альпийским походом Суворова. Все это перед нами на кинематографической ленте — безводные пустыни и девственная тайга, кручи Хингана и трясина маньчжурских равнин, и всюду наш солдат чудом проходит сквозь дебри, доступные лишь горному и таежному зверю, и тащит за собой тяжелые пушки, и танки движутся по проложенным первыми солдатами дорогам, и рассыпается в прах японский бетон, и японские армии капитулируют, раздавленные лавиной советских войск, прорвавшихся с трех сторон в центр Маньчжурии. Японское оружие — в ногах у красноармейцев. Японские генералы сдаются в плен.

Старая солдатская песня звучит в финале, песня о далекой маньчжурской земле. 1904 год Порт-Артура перекликается в ней с годом 1945-м. На страже нашей победы стоит краснофлотец у океана, чайки летят над тихой водой, дремлют сопки в тумане, — мир пришел на землю, стонавшую под японским тайфуном.

Мир возвращен ей подвигом нашей страны.

К. ЕВГЕНЬЕВ.

*Производство Центральной ордена Красного Знамени студии документальных фильмов, 1945 год.

Мощные искровые разряды

«Молнии» в лаборатории

Изучением мощных электрических разрядов, имеющим большое теоретическое и практическое значение, занимается высоковольтная лаборатория Энергетического института Академии наук СССР. В течение примерно десяти лет руководитель лаборатории доктор технических наук И. С. Стекольников и его сотрудники изучают естественный источник мощных электрических разрядов — молнию.

В институте были построены аппараты, с помощью которых можно искусственно создавать высоковольтные разряды, подобные молнии, но с током малой силы. Ученые стремились, однако, сконструировать аппарат, который создавал бы разряд, по силе тока не уступающий настоящей молнии. Конструирование такого аппарата — импульсного генератора — длилось весь 1945 год, и на-днях он был испытан.

Благодаря особому устройству аппарата можно в течение мгновений получать в разряде до одного миллиона киловатт, что превышает мощность крупнейших современных электростанций.

Во время испытания импульсного генератора регистрирующие приборы отметили ток силой в 400.000 ампер. Это почти в два раза превышает силу тока наиболее мощной молнии, которую удавалось изучать в естественных условиях (самая мощная — в 230.000 ампер — молния наблюдалась в 1938 году на линии электропередачи Свирь—Ленинград).

При разряде в 400.000 ампер генератор давал мощный звуковой удар, излучал исключительно яркий сноп света и вызывал появление каких-то волн, пронизывавших тело экспериментатора. При заряде генератора до его предельного рабочего напряжения — в 75.000 вольт — можно будет, как предполагает профессор И. С. Стекольников, получить ток в 450.000 ампер.

С помощью новой машины в институте будет изучаться влияние мощных искровых разрядов на работу высоковольтных энергетических систем.

Смотр русской классики в театрах Литвы

ВИЛЬНЮС, 31 декабря. (**По телеф. от соб. корр.**). Закончился смотр русской классики на сцене литовских театров. Вильнюсский театр драмы показал «Вишневый сад» Чехова, Каунасский драматический театр — «Доходное место» Островского.

Смотр русской классики совпал с 25-летним юбилеем оперного театра. Этот юбилей тепло отметила общественность Каунаса. Литовский оперный театр был открыт в декабре 1920 года постановкой «Травиаты». В первом спектакле участвовал и организатор театра Кипрас Петраускас — выдающийся певец, воспитанник Петербургской консерватории, ученик Шаляпина и композитора Направника. Кипрас Петраускас теперь народный артист Литовской ССР.

На смотре русской классики театр показал «Евгения Онегина» и «Пиковую даму». Последняя постановка получила особенно хорошую оценку.

Памятник танкистам

ЛЬВОВ, 31 декабря. (**По телеф. от соб. корр.**). Разгромив немцев, первыми на Ленинскую улицу гор. Львова ворвались танкисты генерала Лелюшенко. Это было полтора года назад. Теперь на месте боев открыт памятник погибшим танкистам. На массивном гранитном пьедестале стоит тяжелый танк.

Львов всегда будет помнить имена старшины Марченко, старшего лейтенанта Абрамова, майора Шитина и других танкистов, отдавших жизнь за освобождение города.

Тираж в Ашхабаде

5 и 6 января 1946 года в Ашхабаде состоится пятый тираж выигрышей по Второму Государственному Военному Займу.

В этом тираже разыгрывается 1.725.000 выигрышей на 460.280.000 рублей, в том числе 200 выигрышей по 50.000 рублей, 400 по 25.000 рублей и 1.000 выигрышей по 10.000 рублей.

Судебный процесс по делу о немецко-фашистских зверствах в Ленинградской области

Утреннее заседание 31 декабря

ЛЕНИНГРАД, 31 декабря. (ТАСС). На утреннем заседании продолжался допрос свидетелей. Первым допрашивается свидетель **Д. В. Васильев**, колхозный счетовод из деревни Молостово, Славковского района, который сообщает суду о сожжении немцами деревень района и расстрелах мирных жителей.

Свидетель **Н. И. Сердюк** изобличает подсудимого Ремлингера, упорно отрицавшего, что им создавались лагери для советских граждан. Свидетель рассказывает, что видел подсудимого Ремлингера, когда тот, принимая должность коменданта Псков, приезжал в Кресты, чтобы ознакомиться с подчиненной ему комендатурой. Он принимал и осматривал находившийся здесь лагерь для гражданских заключенных—жителей Пскова и окрестных деревень, которых морили голодом, нещадно избивали, держали в карцерах. Здесь погибали медленной смертью люди, не знавшие за собой никакой вины.

Свидетель **Курт Дитмар**, бывший командир отделения из 2-го батальона «особого назначения», служивший под командой подсудимых Фогеля и Штрюфинга, показывает, что в июле 1944 года, во время отступления немцев из-под Пскова, он видел, как Фогель и Штрюфинг из карабинов расстреливали мирных советских людей, старух и стариков.

— В одной деревне, у реки Великой по приказу Штрюфинга, — показывает свидетель, — Фогель, Янике и я расстреляли 20—25 мужчин и женщин.

Свидетель **Эмиль Вибуш** сообщает суду, что вместе с подсудимым Зоненфельдом проходил в Луге специальное обучение. Их учили, как должны действовать карательные группы.

Государственный обвинитель обращается к суду с ходатайством вызвать дополнительно свидетелей.

Суд решает вызвать дополнительно свидетелей Н. Н. Белехова — начальника государственной инспекции по охране памятников Ленинграда, С. Н. Давыдова—начальника специальной проектно-реставрационной мастерской Комитета по делам архитектуры при Совнаркоме СССР, П. П. Тарасова — настоятеля кафедрального Николо-Богоявленского собора и секретаря митрополита Ленинградского и Новгородского. Кроме того, в качестве судебно-медицинского эксперта суд решает вызвать подполковника медицинской службы А. П. Владимирского — судебно-медицинского эксперта Ленинградского военного округа, принимавшего участие в расследовании немецко-фашистских зверств и в частности в обследовании могил, где похоронены замученные немцами советские граждане.

Затем продолжается допрос свидетелей.

Свидетель **Пауль Хейзе** показывает, что батальон «особого назначения», в котором он служил, сметал с лица земли десятки населенных пунктов, грабил села, угонял скот, расстреливал мирных людей, оставляя за собой «зону пустыни». В этих зверских операциях, как показывает свидетель, помимо Бема, участвовали подсудимые Дюре и Энгель.

Последние подтверждают, что свидетель говорит правду.

Об активном участии подсудимых Бема и Энгеля в уничтожении сел и деревень говорит также свидетель **Вернер-Цилинский**, бывший военнослужащий батальона «особого назначения».

Свидетель **Н. Н. Белехов** рассказывает о варварском разрушении и уничтожении немецко-фашистскими захватчиками исторических, художественных памятников, музеев пригородов Ленинграда. Историческим ценностям Ленинграда и его замечательных пригородов, показывает свидетель, немецко-фашистские варвары нанесли неисчислимый ущерб. Из имеющихся в Ленинграде 300 памятников искусства, находящихся под охраной государства, в результате варварских обстрелов города и бомбежек в той или иной мере повреждены 180. Тридцать семь памятников разрушены настолько, что их нельзя восстановить.

Допросом свидетеля Белехова утреннее заседание заканчивается.

Судебный процесс по делу о немецко-фашистских зверствах в Орловской, Брянской и Бобруйской областях

Приговор

БРЯНСК, 30 декабря. (ТАСС). Сегодня в 11 часов утра председательствующий — Председатель Военного Трибунала генерал-майор юстиции А. М. Микляев огласил приговор.

Военный Трибунал Округа установил виновность каждого из подсудимых в следующем:

Бернгард и Гаманн в период 1942 — 1944 годов на территории Орловской, Брянской и Бобруйской областей, попирая установленные международным правом правила ведения войны, установили для населения режим кровавого террора, подвергали мирных советских граждан и военнопленных массовому истреблению и истязанию, угоняли советских людей в немецкое рабство, разрушали города и населенные пункты, грабили и уничтожали имущество, принадлежавшее государству, колхозам, общественным организациям и советским гражданам. Штайн и Лемлер, находясь в составе частей германской армии, непосредственно принимали участие в массовом убийстве советских граждан и в разрушении населенных пунктов, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 года.

Руководствуясь ст. 4 УК РСФСР и ст.ст. 319 и 320 УПК РСФСР и учитывая степень виновности каждого, Военный Трибунал приговорил: Бернгард Фридриха-Густава, Гаманн Адольфа и Лемлер-Мартина-Адольфа — **к смертной казни через повешение**, Штайн Карла-Теодора — **к 20 годам каторжных работ.**

Приговор был встречен присутствующими в зале суда трудящимися гор. Брянска единодушным одобрением.

Приговор приведен в исполнение

БРЯНСК, 30 декабря. (ТАСС). Сегодня в 15 часов на городской площади был приведен в исполнение приговор Военного Трибунала Округа над приговоренными к смертной казни через повешение немецко-фашистскими злодеями — Бернгард Фридрихом-Густавом, Гаманн Адольфом и Лемлер Мартин-Адольфом за массовое истязание и истребление мирных советских граждан, в том числе детей, женщин, стариков, в Орловской, Брянской и Бобруйской областях.

Приведение в исполнение приговора было встречено единодушным одобрением собравшихся на площади многочисленных трудящихся города.

Александр ИЛЬЧЕНКО

Кто там стучится в дверь?

В прихожей родильного дома было темно. За толстыми стенками кто-то кричал. Голос был глух и смутен, совсем как тусклый свет синей лампы за матовым стеклом — единственный здесь источник света.

Четверо мужчин сидели в прихожей.

Гремя судками, вдруг возникла в синеве перед стеклянной дверью грузная, высокая женщина в халате. Из темноты к ней подступили порывистые тени посетителей, и в прихожей стало совсем тесно. — «Ваша мается», — к кому-то обратилась она, и в резком голосе ее порясало безразличие. — «Ты сама-то матерью не была?» — с тихой укоризной спросил старческий голос. Но та, не отвечая, направилась в угол, к самому входу. — «Вы и сегодня заснули?» — грубо спросила она, гремя пустой посудой. «Проснитесь!» Слышно было, как, посапывая, с трудом просыпается мужчина. «Вот она, ваша кастрюля! Вот письмо! Да держите же!» Он что-то спросил у нее, закашлялся, санитарка быстро ушла. Мужчина попытался было прочесть письмо, но фитилек не вспыхивал, зажигалка высекала лишь легкую, прозрачную искру, выхватывая из темноты широко раскрытый глаз, дрожащий листок бумаги, измятый офицерский погон.

В кулаке зажав свою записку, еще не зная, что в ней, я поспешно вышел. Родильный дом стоял на крутой горе, посреди старинного парка, и весь город был где-то внизу, в глуховатой темноте, тихий после недавней бомбежки.

Хлюпая по талому снегу, кто-то вышел вслед за мной, и по кашлю, по бряцанию судков, по четкому солдатскому шагу я понял, что это — тот самый. Догнав меня, он тихо спросил, как это водится между отцами:

— У вас сын?

— Еще не знаю, может быть в этой записке...

— А у меня сын, Володька. Десять фунтов!

Это был голос простуженного, усталого, но счастливого человека. Мне захотелось увидать его лицо, но было темно.

Путь предстоял дальний, и мы пошли рядом. По небу снова стали шарить лучи прожекторов. Падал тихий снежок. Разговор был немногословен и шел больше о детях, о семье, о книгах, о чем хотите—только не о войне, дымом которой изо дня в день дышал этот человек. Постепенно обнаружилось, что у нас общие знакомые — фронтовые друзья, мы разговорились, и я узнал, что летчик живет в этом городе всего каких-нибудь четыре дня, что у них с женой никого здесь нет, и вот приходится ему после работы готовить для роженицы и относить километров за восемь в больницу. Когда мы подошли к воротам, я пригласил его к себе. У меня в те трудные месяцы был уже свет, топилась печка и где-то в шкафу стоял забытый графин водки.

— В здешнем-то моем жилье, что в сарае, и хочется пойти к вам, но... через два часа — мне на работу, а итти еще далеко... И я почувствовал по интонации, что работа предстоит опасная, трудная, и понял теперь, почему он так крепко спал в прихожей родильного дома.

— Встретимся в больнице. С работы я завтра вернусь пораньше...

И вдруг мы оба вспомнили, что именно завтра такая ночь, когда надо бы встретиться за столом, когда одиночество особенно невыносимо, и мы, прощаясь, решили встретить новый год у меня.

— До завтра, — сказал он. — Но лучше не загадывать: мы, летчики, народ суеверный...

Утром я снова пришел в больницу. Вечером я опять был в родильном доме и долго ждал своего вчерашнего знакомого в темной прихожей. Вернулся домой один. От праздничного стола мысли мои летели не только в больницу, но и в тот неведомый мне край войны, куда судьба сегодня забросила и не вернула моего летчика.

Товарищи засиделись далеко за полночь. Одни приходили, другие прощались. Я прислушивался к каждому стуку в дверь, и мне все казалось, что это он, летчик, — я ведь не знал даже, как его зовут, сколько ему лет, откуда он, мне только слышался его крутой — не то владимирский, не то вологодский — говорок. Я старался представить себе его лицо и, конечно, не мог.

Я встретил его в следующий вечер в той же темной прихожей. Он спокойно пожал мне руку и спросил:

— Ну что? Кого родила? Дочку? Поздравляю... А я, знаете... вчера не пришел к вам. Непредвиденная задержка.

Когда ему вынесли письмо и судки, он вынул зажигалку, и я тоже пристроился у огонька, чтобы прочесть поскорее свои несколько строк.

В темноте парка мы снова очутились вместе.

— А вы знаете, — сказал летчик, —та грубая тетка, ну, которая выносит нам записки... она ведь совсем не такая грубая...

Я слушал, и мне казалось, что видеть в других что-либо плохое этому человеку мешает тот внутренний свет, которым жарко горели его глаза.

— Она, говорят, на той неделе получила из части извещение о смерти сына. И ей тяжко: ведь приходится много раз в день сообщать о благополучии чужих сыновей и дочек. Она вот выходит сегодня ко мне и говорит, что мол оба сына мои здоровы, а голос ее, грубый голос, дрожит.

— Оба сына? — в изумлении переспросил я. — Вы, помнится, говорили мне об одном.

— Перемена семейных обстоятельств, — сказал он. И, чем-то озабоченный, вдруг прибавил: — Синоптики обещали морозец, а бог посылает мне слякоть и слякоть — ни на лыжах, ни на колесах.

Мы почему-то свернули с дороги и пошли между оголенными деревьями, увязая в мокром снегу.

— Перемена семейных обстоятельств, — снова сказал он, гремя пустой кастрюлей, подвешанной на солдатском ремне. И рассказал мне о пережитом в новогоднюю ночь.

...В далеком партизанском лесу, у самых Карпат, одиннадцатые сутки шло сражение. У партизан кончались боеприпасы, и летчик, Степан Лукич, в очередном вечернем полете должен был приземлиться в пуще. Он рассказывал мне о мучительных поисках, о посадке, о поломке шасси...

Получив боеприпасы, партизаны продолжали бой. Лукич возился с поврежденным шасси, работа уже близилась к концу, но совсем неожиданно летчику пришлось взяться за автомат, перестрелка вдруг вспыхнула у самого самолета. Обороняя машину, он вынужден был отойти от нее и ввязался в довольно жаркое дело. Впрочем, вскоре можно было бы снова вернуться к машине и улететь. Но он никак не мог решиться покинуть партизан в такой страшный час. Летчик уходил дальше и дальше от своего самолета, он уже спешил с отрядом в какое-то село.

В том селе зимнюю охоту немцы устроили по всем правилам — с облавами, с травлей — охоту за крестьянскими детьми. В каком-то заброшенном погребе матери успели припрятать двенадцать ребят и с ними двух беременных женщин, — но теперь все они вот-вот должны были погибнуть...

Одна из женщин начала рожать. Чтобы не привлечь криком немцев, не выдать всех, она рожала молча, искусав себе руки. Роды длились вторые сутки. Женщине казалось, что без облегчающего крика она не родит никогда, и пытка эта будет продолжаться без конца,—в этой влажной и вонючей яме, в сплошной ночи. Она даже боялась появления ребенка, его крика, — он ведь мог выдать немцам все убежище.

Чем ближе подходили партизаны к селу, тем больше тревожила Степана Лукича судьба самолета, оставленного на лесной поляне. Он все вспоминал прихожую больницы, думал о Володьке, о сыне, которого он еще никогда не видел, и... увидит ли? Выйдет ли он из этого дела живым? И он жалел уже о своем порыве, дотоле незнакомое чувство страха охватывало его. Ему до боли, до крика хотелось к сыну... Но мать чужих детей, запертых в подвале, женщина с глазами, в которых застыл испуг, повела Лукича и еще нескольких партизан в погреб.

В том погребе они застали всех ребят, только роженицы уже не было. В последнем смертном усилии она выбралась из ямы, страшно закричала где-то поблизости, потом затихла, потом кричала снова, и, видно, крик облегчил ее, заплакал ребенок, потом чего-то бормотали немцы, был выстрел, и снова настала привычная ночная тишина...

Еще не остывшее тело роженицы нашли в снегу на площади, но младенца с ней не было.

Чувство страха покинуло Степана Лукича так же внезапно, как и пришло. Силы небольшого отряда, казалось, выросли во сто крат, и за полчаса от немецкого гарнизона в селе не осталось ничего. Закончилось победой партизан одиннадцатидневное сражение в лесу.

В большом доме на краю села отряд застал трех поваров, толстых баварцев, в самом разгаре приготовлений к пиршеству. Покончив с немцами, усталые и голодные партизаны шумно сели у накрытых столов, но никто от усталости не мог прикоснуться к еде, и все были несказанно удивлены, когда летчик, к которому за ночь они уже успели привыкнуть, вдруг поднял бокал и поздравил с приближением нового года: в страшном бою люди совсем потеряли ощущение времени...

Но Степан Лукич так и не окончил свой новогодний тост: откуда-то из глубины дома вдруг донесся слабый крик ребенка.

Новорожденного нашли рядом с кухней, в холодной каморке. Закоченевший ребенок лежал на искусственной грядке, на ящике с землей, в котором баварские повара выращивали зеленый лучок...

— Кто их знает, зачем они его туда бросили... Не знаю, нет... А минут через десять мы уже снова сидели у стола и, встретив новый год, пили за моего второго ребенка...

Закончив рассказ, Степан Лукич остановился у дерева, прикоснулся лицом к мокрому и холодному стволу, и так стоял молча, словно только теперь он понял все то, что пришлось ему пережить за одну новогоднюю ночь.

— А вы знаете, — вдруг обернулся он, — сегодня, когда я принес ребенка в больницу, когда жена уже покормила его, вышла в прихожую вот та самая санитарка... ну та, грубая тетка, которая выносит записки... И я не узнал ее: в роде оттаял человек... Я ей, конечно, отказал, она попросила отдать ей моего ребенка. Я посоветовал ей: ведь порою бывают случаи, когда у них, в родильном, остается ребенок без никого... Ну, она так и ушла, не ответила мне ничего. Она ведь была матерью и, конечно, знает сама, как нелегко достаются дети...

Мы с летчиком долго бродили по улицам. Нам не хотелось расставаться. Мы условились встретиться через день, как только Лукич возьмет из больницы жену и своих близнецов.

— Через день, — сказал он. — Но не будем загадывать, кто знает... Мы, летчики, народ суеверный...

Так мы с тех пор и не виделись со Степаном Лукичем. Два года я пытался разыскать его след, но напрасно. Совсем недавно, в начале декабря, я вдруг получил телеграмму. Степан Лукич сообщал мне с Дальнего Востока, что после ранения выздоровел и снова возвращается с семейством в наш город и под новый год, хоть и с большим опозданием, все же собирается быть у меня...

— И вот теперь я сижу у стола, с двухлетней дочкой и ее матерью, сижу у стола под сенью нашей первой елки и нетерпеливо жду: вот-вот позвонят у двери и войдет ко мне долгожданный друг, которого я так ни разу и не видал при свете, ощущая лишь жаркий свет изнутри, так пленивший меня в этом человеке... Я буду ждать... войдет он с женой, и каждый из них внесет в дом по младенцу, и я, пожалуй, так и не узнаю никогда, который же из двух был рожден в той страшной яме... И когда мы уложим спать всех наших троих детей, и когда уже наступит новый, счастливый год, и все уже будут навеселе,—я незаметно уведу его в другую комнату, и мы помолчим, потихоньку вспомним первое знакомство, рождение близнецов, грубую тетку, синее марево в темной прихожей родильного дома. И он, быть может, скажет мне, что дом этот сегодня сияет уже всеми огнями, что тетка та, пожалуй, стала теперь милой и обходительной, и я поверю ему, потому что сегодня мы вместе, и у всех светло на душе...

Вот так мы поговорим со Степаном Лукичем... Но пока все еще нет моих долгожданных гостей, нет и нет... Стрелки движутся и движутся к двенадцати — и вдруг... вы слышите? Слышите... Кто там? Кто там стучится в дверь?

г. КИЕВ, 31 декабря.